

Провинция Алжир / рассказ

Category: Hekayalar, Kitapcy

написано kitapcy | 23 января, 2025

Провинция Алжир / рассказ ПРОВИНЦИЯ АЛЖИР

Французы, постоянно живущие в Алжире, знают из всей этой страны только равнину Митиджи. Они безмятежно живут в одном из самых очаровательных городов мира, заявляя, что арабы – народ, не поддающийся никакому управлению и годный лишь на то, чтобы его истреблять или изгонять в пустыню.

Из арабов они, впрочем, видели только оборванцев с юга, которыми кишат улицы Алжира. В кафе говорят о Лагуате, о Бу-Сааде, о Сайде как о местностях, находящихся на краю света. Редко встретишь даже офицера, который знал бы эти три провинции. Он ведь обычно не выезжает из своего округа до самого возвращения во Францию.

Следует, впрочем, прибавить, что если вы отклоняетесь от крупных проезжих дорог, путешествовать на юге становится очень опасно. Такое путешествие возможно только с помощью и при содействии военных властей. Начальники пограничных округов считают себя прямо-таки самодержавными монархами, и всякое новое лицо, отважившееся проникнуть на их землю, рискует сильно потерпеть... от арабов. Всякий одинокий путешественник будет немедленно задержан каидами, отправлен под конвоем к ближайшему офицеру и отведен в сопровождении двух спаги на гражданскую территорию.

Но если представить хоть какую-нибудь рекомендацию, вы встретите со стороны офицеров из бюро по арабским делам самый любезный прием, какой только можно себе представить. Офицеры живут уединенно, далеко от европейцев и принимают путешественника радушнейшим образом; живя уединенно, они много читали, они образованны, интеллигентны, и побеседовать для них наслаждение; живя уединенно в этой обширной безотрадной стране с ее безграничными просторами, они привыкли мыслить, как мыслят одинокие труженики. Я уехал из Франции предубежденным, как и все французы, против этих бюро, а вернулся, совершенно

переменив мнение.

Именно благодаря содействию некоторых из этих офицеров я и мог совершить большую экскурсию вне проторенных путей, переходя от одного племени к другому.

Рамадан только что качался. В колонии настроение было беспокойное, так как боялись общего восстания по окончании этого магометанского поста.

Рамадан длится тридцать дней. В течение этого времени ни один слуга Магомета не должен ни пить, ни есть, ни курить с того утреннего часа, когда солнце восходит, до того часа, когда глаз уже не отличит белой нитки от красной. Это суровое предписание не всегда выполняется буквально: вспыхивает не одна сигарета, едва лишь огненное светило скроется за горизонтом и прежде чем глаз перестанет различать красный или белый цвет нитки.

За исключением этой поспешности ни один араб не преступает строгого закона поста, закона полного воздержания. Мужчины, женщины, мальчики с пятнадцати лет, девочки, достигшие брачного возраста, то есть между одиннадцатью и тринадцатью годами, круглый день остаются без пищи и питья. Голодать еще не так трудно, но воздерживаться от питья в такую мучительную жару ужасно. Никаких поблажек во время поста не полагается. Никто, впрочем, не посмеет и просить об этом; даже публичные женщины, улад-найль, которыми кишат арабские центры и большие оазисы, постятся, как марабуты, может быть, даже строже, чем они. А те арабы, которые считаются цивилизованными и в обычное время готовы, казалось бы, следовать нашим обычаям, разделять наши взгляды, помогать нашему делу, с наступлением Рамадана опять становятся дико фанатичными и набожными до одури.

Легко себе представить, до какой степени доходит экзальтация этих ограниченных и упрямых людей при соблюдении такого сурового религиозного обряда. Весь день эти несчастные, у которых от голода подводит живот, предаются размышлениям, глядя, как победители руми у них на глазах едят, пьют и курят. И арабы твердят про себя, что если убить одного из этих руми во время Рамадана, то попадешь прямо на небо и что срок нашего владычества приходит к концу: ведь марабуты непрестанно им

обещают, что мы все будем сброшены в море ударами их дубин. Именно во время Рамадана развивают свою деятельность айсауа – глотатели скорпионов, пожиратели змей и религиозные фокусники; они одни, да еще, быть может, некоторые иноверцы и кое-кто из представителей благородных семейств не проявляют религиозного фанатизма.

Эти исключения необыкновенно редки, я мог бы привести только одно.

Некий офицер из округа Богар, отправляясь в двадцатидневный поход на юг, просил трех сопровождавших его спаги не соблюдать Рамадана, так как он понимал, что ничего нельзя требовать от людей, измученных постом. Два солдата отказались, третий ответил:

– Господин лейтенант, я не соблюдаю Рамадана; я ведь не марабут, я благородного происхождения.

Он действительно происходил из большого шатра, был потомком одного из самых древних и самых знатных родов в пустыне.

До сего времени существует странный обычай, который возник со времени оккупации и представляется совершенно нелепым, если подумать о чудовищных последствиях, какие может иметь для нас Рамадан. Так как вначале надо было расположить к себе побежденных, а уважение к мусульманской религии – лучший способ их задобрить, было решено, что во время священных дней поста французская пушка будет ежедневно оповещать о начале и о конце воздержания. Итак, по утрам, при первом румянце зари, пушечный выстрел возвещает о начале поста, и каждый вечер, минут через двадцать после заката солнца, во всех городах, во всех фортах и во всех военных селениях раздается другой пушечный выстрел, по сигналу которого зажигаются тысячи сигарет, осушаются тысячи глиняных кувшинов и по всему Алжиру готовится неисчислимое количество блюд кус-куса.

Мне привелось присутствовать в большой мечети столицы Алжира на религиозной церемонии, которой начинается Рамадан.

Здание это совсем простое, с выбеленными известью стенами, с толстым ковром на полу. Арабы входят поспешно, босиком, держа в руках обувь. Они становятся длинными правильными рядами, ровными, как ряды солдат на учении, и разделенными большими

промежутками, кладут на пол башмаки и все взятые с собой мелкие вещи, а затем замирают неподвижно, как статуи, обратясь лицом к маленькой часовне, указывающей направление в сторону Мекки.

В этой часовне богослужение совершается муфтием. Голос его, старческий, слабый, блеющий и очень монотонный, тянет нечто вроде печальной песни, которую, раз услышав, никогда уже не забудешь. Интонация часто меняется, и тогда все присутствующие одним ритмическим движением безмолвно и поспешно падают ниц, касаясь лбом земли, несколько секунд лежат расprostертыми, а затем поднимаются без всякого шума, ни на секунду не заглушая дрожащего, тихого напева муфтия. И таким образом все присутствующие беспрестанно склоняются и выпрямляются фантастически быстро, бесшумно и равномерно. Здесь вы не услышите ни стука отодвигаемых стульев, ни кашля, ни перешептывания, как в католической церкви. Чувствуется, что первобытная вера витает вокруг, преисполняя этих людей, сгибая их и выпрямляя, как картонных плясунов, та молчаливая и властная вера, которая поработывает тело, заставляет каменеть лица и сжиматься сердца. Невыразимое чувство уважения, смешанное с жалостью, охватывает вас при виде этих исхудалых фанатиков: живот уж никак не помешает им класть земной поклон, и они исполняют религиозные обряды с механичной отчетливостью прусских солдат на маневрах.

Стены белые, ковры на полу красные; человеческие фигуры белые, синие или красные, а иногда и других цветов, в зависимости от причудливого праздничного одеяния, но все люди закутаны в широкие плащи и сохраняют гордую осанку; на их голову и плечи льется мягкое сияние светильников.

Группа марабутов расположилась на возвышении, все они отвечают муфтию на таких же высоких нотах. И это продолжается без конца.

Касбу надо осматривать вечером, во время Рамадана. Словом «касба», означаящим «крепость», в конце концов стали называть весь арабский город. Так как в течение дня постятся и спят, то питаются и живут ночью. Тогда эти узкие улочки, крутые, как горные тропинки, тесные и извилистые, точно прорытые зверями

ходы, которые беспрестанно петляют, пересекаются, сливаются, столь таинственные, что там невольно говоришь вполголоса, наполняются толпой из Тысячи и одной ночи. Такое именно впечатление выносишь оттуда. Совершаешь прогулку по стране, о которой рассказывала султанша Шахразада. Вот низкие двери, толстые, как стены тюрьмы, и с восхитительным искусством окованные железом; вот женщины в покрывалах; вот промелькнувшие на мгновение лица в глубине приоткрытых двориков, а вот и все неясные звуки, доносящиеся из недр этих домов, запертых, как сундуки с потайным замком. На пороге нередко лежат мужчины, едят и пьют. Подчас эти группы распростертых тел загораживают весь узкий проход. Шагаешь через голые икры, задеваешь чьи-то руки, ищешь местечко, куда ступить среди груды белых тканей, из которой торчит головы, руки и ноги.

Евреи не запирают своих берлог, служащих им лавками. Тайные дома разврата, полные шума, так многочисленны, что через каждые пять минут ходьбы встречаешь их два или три.

В арабских кафе вереницы мужчин, теснясь друг к другу расположились, поджав ноги, на скамье у самой стены или просто на полу и пьют кофе из микроскопических чашечек. Неподвижные и молчаливые, они держат в руке чашку, иногда поднося ее к губам медлительным жестом, и сидят до того скученно, что двадцать человек умещается там, где у нас было бы тесно и десятерым.

А фанатики со спокойным видом расхаживают среди этих мирных потребителей кофе, проповедуя восстание и возвещая конец порабощению.

Говорят, что предвестники крупных восстаний появляются всегда в ксаре (арабская деревня) Бухрари.

Если смотреть на Атласские горы с огромной равнины Митиджи, то видишь гигантскую расселину, которая раскалывает хребет в южном направлении: он как будто разрублен ударом топора. Эта трещина называется ущельем Шиффа. Здесь-то и проходит дорога в Медеа, Бухрари и Лагуат.

Входишь в расселину горы, следуешь вдоль мелководной речки Шиффа, углубляешься в узкое ущелье, дикое и лесистое.

Повсюду источники. Деревья карабкаются по крутым склонам,

цепляясь за что попало, точно идут на приступ.

Проход становится все теснее. Всюду на вас угрожающе смотрят отвесные скалы; между их вершинами голубой лентой тянется небо; затем вдруг за крутым поворотом показывается маленький постоянный дворик над обрывом, заросшим деревьями. Это постоянный двор Обезьяньего ручья,

У входа поет в водоеме вода; она струится, падает, наполняет свежестью этот уголок, напоминая о мирных швейцарских долинах. Здесь вы отдыхаете, в тени вас одолевает дремота; но вот над вашей головой зашевелилась ветка, вы вскакиваете – и в самой гуще деревьев начинается стремительное бегство обезьян, прыжки, скачки, кувыркание и крики.

Среди обезьян есть громадные, есть и совсем маленькие; их здесь сотни, может быть, тысячи. Лес ими населен, переполнен, кишит, как муравейник. Некоторые из них, пойманные хозяевами харчевни, ласковы и спокойны. Одна совсем молоденькая, изловленная на прошлой неделе, еще немного дичится.

Если вы сидите неподвижно, они подходят, следят, наблюдают за вами. Можно сказать, что путешественник является большим развлечением для обезьян – обитателей этой долины. Бывают, однако, дни, когда их совсем не видно.

За постоянным двором Обезьяньего ручья долина становится еще теснее; и вдруг слева – два больших водопада. Они несутся вниз почти с самой вершины горы, два светлых водопада, две серебряные ленты. Бели бы вы знали, как радостно видеть водопад на этой африканской земле! Долго-долго поднимаешься в гору. Ущелье становится менее глубоким, менее лесистым. Взбираешься выше; гора постепенно оголяется. Теперь кругом луга; когда же достигаешь вершины, видишь дубы, ивы, вязы, деревья нашей родины. Ночуешь в Медеа, в маленьком белом городке, в точности похожем на провинциальный городок Франции. После Медеа на нас опять обрушивается неумолимая ярость солнца. Впрочем, мы пересекаем лес, но что за лес – тощий, редкий, где повсюду обнажается опаленная поверхность земли, которая вскоре будет совсем сожжена. А дальше вокруг нас уже нет никакой жизни.

По левую руку открывается долина, бесплодная и красная, без

единой травинки. Она уходит вдоль и похожа на таз, полный песка. Вдруг ее медленно пересекает от одного края до другого большая тень, скользя беглым пятном по голой почве. Она, эта тень, единственная настоящая обитательница здешних унылых и мертвых мест. Она точно царствует здесь подобно таинственному и мрачному духу.

Я поднимаю глаза и вижу, как улетает, широко раскрыв крылья, великий пожиратель падали, тощий ястреб, который парит над своими владениями, под другим властителем и убийцей обширной страны – под солнцем, этим жестоким солнцем.

Когда спускаешься к Бухрари, перед тобой, насколько видит глаз, открывается бесконечная долина Шелиффа. Это сама нищета, желтая нищета земли во всем своем безобразии. Долина эта, которую пересекает грязное русло безводной реки, выпитой до дна небесным огнем, кажется ободранной, как старый нищий араб. Огонь, заменяющий здесь самый воздух, наполняющий ее до краев, на этот раз все победил, все пожрал, все испепелил, все уничтожил.

Что-то касается вашего лба; в другом месте это был бы ветер, здесь же это огонь. Что-то колышется там на каменистых кряжах; в другой стране это был бы туман, здесь же это огонь или, вернее, видимый глазом зной. Не будь земля выжжена до основания, эта странная дымка напоминала бы пар, поднимающийся от живого тела, прижигаемого раскаленным докрасна железом. И все здесь странного цвета, ослепляющего и вместе с тем бархатистого, цвета горячего песка, к которому примешивается как бы лиловатый оттенок, бросаемый расплавленным небом.

Насекомые не водятся на этой пыльной земле, разве кой-где крупные муравьи. Тысячи маленьких существ, которых видишь у нас, не могут существовать в этом пекле. В некоторые особенно знойные дни мухи мрут, как при наступлении холодов на севере. Только с большим трудом можно разводить здесь кур. Бедняжки бродят с раскрытым клювом и растопыренными крыльями; вид у них жалкий и смешной.

Уже три года, как иссякают последние источники. И всемогущее солнце точно торжествует великую победу.

Но вот несколько деревьев, несколько чахлых деревьев. Там,

направо, на вершине запыленного холма, – Богар.

Налево, в скалистой впадине, вырисовывается на фоне неба большая деревня, венчающая холм и едва отличающаяся от почвы, настолько она приняла ее однообразную окраску. Это ксар Бухрари.

У подножия пыльного холма, на котором расположилось это обширное арабское селение, приютилось несколько домов; они образуют смешанную общину.

Ксар Бухрари – одно из самых замечательных арабских селений Алжира. Оно расположено как раз на южной границе этой области, недалеко от горного хребта Телль, между европеизированными областями и большой пустыней. Местоположение ксара Бухрари придает ему исключительную политическую важность, так как он является чем-то вроде соединительного звена между арабами, живущими в прибрежных областях, и арабами Сахары. Вот почему там издавна бился пульс всех восстаний. Сюда приходят приказы, и отсюда они передаются дальше. Самые отдаленные племена посылают своих людей узнать, что делается в Бухрари. Со всех концов Алжира обращены сюда внимательные взоры.

Одна лишь французская администрация не интересуется тем, что затевают в Бухрари. Она обратила его в полноправную общину, наподобие тех общин во Франции, которые управляются мэром, старым заспанным крестьянином, с помощью полевого сторожа. Входи и выходи кто хочет. Арабы, приехавшие неизвестно откуда, могут разгуливать повсюду, вести разговоры, строить какие угодно козни без всякого стеснения.

Смешанная община, находящаяся у подножия ксара, на расстоянии двухсот – трехсот метров от него, управляется гражданским администратором, располагающим самыми широкими полномочиями на этой безлюдной территории, наблюдать за которой почти бесполезно. Он не вправе, однако, посягать на компетенцию своего соседа мэра.

Напротив, на горе, расположен Богар, где живет командующий военным округом. У него в руках все средства власти и притом самые действенные, но он не имеет никакого влияния в ксаре, полноправной общине. Ведь ксар населен одними арабами. К этому опасному пункту относятся почтительно, тогда как за

окрестностями наблюдают с большой тщательностью. Лечат проявления болезни, не заботясь о ее причине.

Что же происходит? Командующий военным округом и гражданский администратор по взаимному соглашению организуют без ведома мэра нечто вроде негласной полиции, которая тайно осведомляет их о всем происходящем.

Не странно ли, что этот арабский центр, всеми признанный опасным, располагает большею свободой, чем любой город во Франции, между тем как ни одному французу, если только он не заручился содействием влиятельного лица, нельзя проникнуть на военную территорию отдаленных южных округов и передвигаться по ней?

В смешанной общине есть гостиница. Я провел там ночь; это была ночь в жаркой бане. Воздух казался объятый пламенем Страшного суда. В нем не было ни малейшего движения, от зноя он как бы застыл.

При первых лучах зари я встал. Взошло солнце, неумолимое, все испепеляющее. Под моим открытым окном, откуда была видна безмолвная и уже пышущая зноем даль, ждал маленький распряженный дилижанс. На желтой табличке можно было прочесть: «Курьер Юга».

Курьер Юга! Неужели же можно ехать дальше на юг в этом ужасном августе месяце! Юг – какое короткое, обжигающее слово! Юг! Огонь! Там, на Севере, упоминая о странах, где тепло, говорят: «Полуденные края». Здесь говорят: «Юг».

Я всматривался в это слово, такое краткое и представлявшееся мне удивительным, как будто я никогда его не видел. Казалось, я открывал в нем таинственный смысл. Ведь самые знакомые слова, так же как и лица, на которые часто смотришь, имеют тайное значение, которое нам открывается вдруг, в один прекрасный день, неизвестно почему.

Юг! Пустыня, кочевники, неизведанные края, а дальше чернокожие, целый новый мир, нечто вроде начала вселенной! Юг! Как властно звучит это слово на границе Сахары!

После полудня я пошел осмотреть ксар.

Бухрари – первое селение, где можно встретить улад-найль. Вас охватывает изумление при виде этих куртизанок пустыни.

Многолюдные улицы полны арабов, которые лежат на порогах, поперек дороги, сидят на корточках, тихо разговаривают или спят. Их развевающиеся белые одежды точно подчеркивают ровную белизну домов. Ни одного темного пятна, все бело; и вдруг где-нибудь в дверях появляется во весь рост женщина, волосы ее высоко уложены, очевидно, по примеру ассирийских женщин, и увенчаны огромной золотой диадемой.

На ней ярко-красное длинное платье. Руки и ноги украшены сверкающими браслетами, а правильное лицо татуировано голубыми звездами.

А вот и другие, множество других куртизанок с такими же монументальными прическами, похожими на четырехугольную гору, по бокам которой спущены толстые косы, закрывающие все ухо, затем подобранные на затылке и снова теряющиеся в густой массе волос. Эти женщины всегда носят диадемы, подчас очень дорогие. Грудь покрыта ожерельями, медалями, тяжелыми украшениями; на двух массивных серебряных цепочках, спускающихся до низа живота, висит большой замок из того же металла, искусной ажурной чеканки; ключ от него висит на другой цепочке.

На некоторых из этих женщин только узкие браслеты. Это начинающие. Другие, давно занимающиеся этим ремеслом, иногда носят на себе на десять — пятнадцать тысяч драгоценностей. Я видел одну, на которой было ожерелье из восьми рядов двадцатифранковых монет. Так хранят они свой капитал, свои сбережения, добытые с таким трудом. У них на ногах массивные, очень тяжелые серебряные обручи. Действительно, как только у куртизанки наберется на двести — триста франков серебряных монет, она отдает их в переплавку мозабиту-ювелиру, который возвращает их в виде чеканных колец, символических замков, цепочек или широких браслетов. Диадемы на голове того же происхождения.

Монументальная прическа куртизанок, искусное и сложное переплетение кос, требует почти целого дня работы и невероятного количества масла. Поэтому они причесываются только раз в месяц, а когда занимаются своими любовными делами, заботливо оберегают это высокое и замысловатое сооружение из волос, которое спустя короткое время начинает

издавать нестерпимый запах.

Улад-найль надо видеть вечером, когда они пляшут в мавританском кафе.

Все тихо в селении. Белые фигуры лежат, растянувшись вдоль домов. Жаркая ночь, небо усеяло звездами, и эта африканские звезды горят таким светом, которого я раньше никогда не видел у звезд, – светом огненных алмазов, трепетным, живым, резким.

Вдруг за поворотом улицы вас поражает шум, дикая, стремительная музыка: отрывистый звон бубен и непрерывный, пронзительный, оглушающий, неистовый визг флейты, на которой без устали играет рослый детина цвета черного дерева, хозяин заведения.

У дверей куча бурнусов – это арабы; они смотрят, не входя вовнутрь, и образуют большое яркое пятно, освещенное светом, вырывающимся из помещения кафе.

Внутри ряд неподвижных белых фигур, сидящих на досках вдоль белых стен под очень низким потолком. А на полу на корточках в своих, как жар горящих, одеждах, сверкающие драгоценностями, с татуированными лицами и высокими прическами, украшенными диадемами, расположились в ожидании улад-найль, напоминая египетские барельефы.

Мы входим. Никто не двигается с места. Тогда, чтобы усадить нас, арабов по обыкновению хватают, расталкивают, сбрасывают со скамей, и они невозмутимо отходят. Другие теснятся, чтобы дать им место.

В глубине на эстраде четыре музыканта в экстатических позах неистово бьют по туго натянутой коже тамбуринов, а хозяин, рослый негр, величаво прохаживается и продолжает отчаянно и беспрестанно дуть в свою неугомонную флейту, ни на секунду не давая себе передохнуть.

И вот две улад-найль поднимаются, становятся на противоположных концах свободного пространства между скамьями и начинают пляску. Их танец – плавное хождение, ритм которого отмечается ударами пятки, от чего на ногах звенят все кольца. При каждом ударе все тело изгибается, как бы прихрамывая; руки, поднятые кверху и вытянутые на высоте глаз, при каждом покачивании медленно поворачиваются, а пальцы быстро и нервно

вздрагивают. Лица, немного повернутые вбок, строгие, невозмутимые, застывшие, остаются поразительно неподвижными, как лица сфинксов, а взгляд все время искоса устремлен на руки, словно зачарованный их плавной игрой, которая беспрестанно прерывается судорожным движением пальцев. Так идут улад-найль одна навстречу другой. Подойдя друг к другу, они берутся за руки, и тело их как будто пронизывает дрожь; женщины откидываются назад, волоча по полу длинное кружевное покрывало, ниспадающее с головы до пят. Они соприкасаются, выгнувшись назад, как в истоме, прелестным движением влюбленных голубок. Большое покрывало бьется, как крыло. Затем, внезапно выпрямившись и вновь обретая бесстрастность, они расходятся, и каждая продолжает свое медлительное прихрамывающее скольжение до рядов зрителей.

Они далеко не все красивы, но все оригинальны. И ни с чем не сравнимы сидящие на корточках арабы, среди которых проходят своей спокойной, отбивающей такт поступью эти женщины, покрытые золотом и огненно-красными тканями.

Движения своего танца они иногда немного разнообразят.

Раньше эти проститутки были все из одного племени – улад-найль. Они собирали такие способом приданое и, сколотив состояние, возвращались на родину, чтобы выйти замуж. Племя уважало их не меньше, чем других женщин; таков был обычай. Хотя в настоящее время по-прежнему принято, чтобы девушки племени улад-найль составляли себе состояние таким способом, но и все другие племена также поставляют куртизанок в арабские центры.

Хозяин кафе, в котором они себя показывают и предлагают, – всегда какой-нибудь негр. Завидев входящих иностранцев, этот предприниматель сейчас же налепляет себе на лоб серебряный пятифранковик, который неизвестно каким образом держится у него на коже, и прохаживается по заведению, яростно дуя в свою примитивную флейту и настойчиво показывая монету, которой себя украсил, в виде приглашения посетителю платить ему в этом же размере.

Те из улад-найль, которые происходят из «большого шатра», проявляют в обращении с гостями, согласно своему

происхождению, щедрость и деликатность. Стоит только залюбоваться на секунду густым ковром, который служит постелью, и не успеет случайный любовник прийти к себе на квартиру, как слуга благородной проститутки уже несет ему эту вещь, вызвавшую его восхищение.

Так же, как и у подобных женщин во Франции, у них имеются любовники, живущие за счет их трудов. Случается, что утром где-нибудь во рву находят одну из них с перерезанным горлом, без единого украшения. Человек, которого она любила, исчезает бесследно и никогда больше не возвращается.

Помещаете, где они принимают гостей, представляет собой узенькую комнатку с глиняными стенами. В оазисах потолок заменяют просто наваленные друг на друга камыши, в которых живут целые полчища скорпионов. Постелью служат несколько ковров, положенных один на другой.

Когда богатые арабы или французы хотят устроить ночью роскошную оргию, они снимают до утра мавританскую баню со всей прислугой. Они едят и пьют в банных помещениях, а диванами, предназначенными для отдыха, пользуются для других целей.

Вопрос о нравах заставляет меня коснуться весьма рискованной темы.

Наши понятия, наши обычаи, наши чувства так резко отличаются от всего, с чем сталкиваешься в Алжире, что мы почти не смеем упоминать у нас о пороке, настолько распространенном в этой стране, что даже тамошние европейцы перестали удивляться ему или возмущаться. В конце концов вместо негодования он вызывает только смех. Это очень щекотливый вопрос, но умолчать о нем нельзя, если хочешь рассказать о жизни арабов и дать представление о своеобразном характере этого народа.

На каждом шагу встречаешь здесь ту противоестественную любовь между лицами одного пола, которую проповедовал Сократ, друг Алкивиада.

Часто в истории мы находим примеры этой странной и нечистоплотной страсти, которой предавался Цезарь, которая была широко распространена среди римлян и греков, которую Генрих III ввел в моду во Франции и в которой подозревали многих великих людей. Но эти примеры только исключения, тем

более заметные, что они довольно редки. В Африке же эта ненормальная любовь так глубоко вошла в быт, что арабы, кажется, считают ее столь же естественной, как и обычную.

Откуда это извращение? Оно зависит, конечно, от многих причин. Самая очевидная – это недостаток женщин, захваченных богачами, владеющими четырьмя законными женами и столькими наложницами, скольких они могут прокормить. Может быть, также и знойный климат, обостряющий чувственные желания, притупил у этих людей с их неистовым темпераментом тонкость и благородство чувств, духовную чистоплотность, которые ограждают нас от отвратительных привычек и отношений.

Может быть, наконец, здесь играет роль нечто вроде традиции нравов Содомы, порочная наследственность у здешнего кочевого народа, полудикого, почти лишенного цивилизации, остающегося и по сейчас таким же, каким он был в библейские времена.

Осмелюсь привести несколько примеров, недавно имевших место и прекрасно характеризующих силу этой страсти у арабов.

У Хаммама, когда он только начинал свою карьеру, служил одним из банщиков мальчик-негр из Алжира. Пробыв некоторое время в Париже, этот молодой человек вернулся к себе в Африку. И вот однажды утром в казарме нашли двух убитых солдат. Розыски вскоре показали, что убийцей был не кто иной, как бывший служащий Хаммама, разом умертвивший двух своих любовников. Между этими людьми, познакомившимися через него, установились интимные отношения, а он, узнав об их связи и ревнуя обоих, зарезал того и другого.

Такие случаи встречаются очень часто.

Вот еще другая драматическая история.

Один молодой араб, происходящий из «большого шатра», славился по всей области своими любовными похождениями, причем он бесчестно конкурировал с куртизанками улад-найль.

Братья много раз упрекали его, но не за то, что он распутничал, а за то, что он продавался. Так как он ни в чем не изменял своего поведения, они дали ему неделю сроку, чтобы он отказался от своего ремесла. Он не обратил внимания на это предупреждение.

На девятый день утром его нашли на арабском кладбище мертвым,

задушенным, обнаженным, с закутанной головой. Когда открыли его лицо, то увидали на лбу монету, вдавленную сильным ударом каблука, и на этой монете маленький черный камень.

А вот рядом с драмой и комедия.

Один офицер-спаги безуспешно искал себе денщика. Все солдаты, которых он к себе брал, были плохо одеты, грязны, неряшливы и совершенно не подходили для этой службы. В одно прекрасное утро является к нему молодой кавалерист-араб, очень красивый, сообразительный, с хорошей выправкой. Лейтенант взял его на пробу. Малый оказался просто находкой: расторопный, чистоплотный, молчаливый, внимательный и ловкий. Все шло прекрасно в течение недели. Затем утром, придя домой с обычной прогулки, лейтенант увидел у двери старого спаги, занятого чисткой его сапог. Лейтенант вошел в переднюю; другой спаги подметал пол. В комнате третий убирал постель. Четвертый распевал песни на конюшне. Денщик же, молодой Мохаммед, курил в это время папиросы, лежа на ковре.

Ошеломленный лейтенант подозвал одного из неожиданных заместителей своего денщика и спросил его, показывая на остальных:

— Что вы все тут делаете, черт вас возьми?

Араб сейчас же пояснил:

— Господин лейтенант, мы присланы туземным лейтенантом.

Действительно, у каждого французского офицера всегда есть соответствующий туземный офицер, который ему подчинен.

— А, туземным лейтенантом! Зачем же?

Солдат продолжал:

— Господин лейтенант нам сказал: «Ступайте к французскому офицеру и сделайте за Мохаммеда всю работу. Мохаммед не должен работать: он жена нашего офицера».

Такая утонченная предупредительность стоила туземному офицеру двух месяцев ареста.

Этот порок настолько укоренился в арабских нравах, что каждый пленный, попавший арабам в руки, немедленно бывает использован ими для наслаждения. Если мучителей много, несчастный может умереть под этой пыткой сладострастия. Судебные власти, призванные констатировать убийство, часто устанавливают также,

что тело убитого после смерти было изнасиловано убийцей. Имеются и другие случаи, весьма обычные и до такой степени отвратительные, что я не могу привести их здесь. Спускаясь однажды вечером из Бухрари незадолго до заката солнца, я увидел трех улад-найль, двух в красном и одну в синем, стоявших среди группы мужчин, которые сидели по-восточному или лежали на земле. Женщины были похожи на дикарские божества, возвышающиеся над распростертым ниц народом. Глаза всех были устремлены на форт Богар, туда, на высокий холм в противоположном конце пыльной долины. Все были неподвижны и внимательны, словно ожидали какого-нибудь необычайного события. У всех в руках была еще не закуренная, только что свернутая сигарета. Вдруг над крепостью взвился белый дымок, земля слегка содрогнулась от глухого отдаленного гула, и мгновенно каждая сигарета оказалась во рту. Это французская пушка извещала побежденный народ о конце ежедневного воздержания.

* * *

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 4. МП «Аурика», 1994

Перевод Н.Н.Соколовой. Neкаýalar